

Алексей
Завгуляев



Чтец



18+

Алексей Загуляев

Чтец

<https://litres.ru/74267172>

SelfPub; 2026

Аннотация

Его голос знали все, а лица не помнил никто. Давыд Бакин привык жить в тени микрофона — до того дня, когда неудачная операция едва не стоила ему жизни и подарила пугающий дар: читать чужие судьбы по страницам книги, которой нет.

Содержание

1	4
2	11
3	19
4	24
5	33
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Алексей Загуляев

Чтец

1

Енот: — А он, значит, такой: «А-а-а!» — Руками машет и говорит: «Т... т... т...»

Обезьяна, сидевшая возле ананасового куста, кидает ананас в спину енота.

Енот (возмущённый, оборачивается): — Ты чего?

Обезьяна: — Я думала, ты подавился. Хотела помочь.

Енот: — Чем я, по-твоему, мог подавиться? Это ты только и делаешь, что набиваешь брюхо с утра до вечера.

Обезьяна: — А чего тогда «т... т... т...»?

Енот: — Откуда я знаю. Так он сказал. А я передаю слово в слово.

— Стоп! — раздалось в наушниках у Давыда.

Это скомандовал Ломтев, наблюдавший за записью из контрольной.

— Что? — удивился Давыд. — Опять рассинхрон?

— А сам не видишь?

— Нет.

— Всё, ребятки, — уже спокойно продолжил Ломтев. —

Давайте на сегодня закончим. Продолжим завтра.

По тон-комнате пронёсся коллективный вздох, похожий на шум прибоя. Леночка — голосом обезьянки, роль которой дублировала минуту назад, — воскликнула:

— Уря!

Павел, отвечавший за броненосца, молча нахмурился и неодобрительно посмотрел на Лену.

Давыд не знал, радоваться ему или огорчаться. С одной стороны, закончив работу на час раньше положенного, он мог прийти ещё до обеда домой и заняться озвучкой своего собственного проекта. Но с другой — в последнее время он стал чувствовать себя возле микрофона чересчур некомфортно. Что-то мешало в горле, отвлекало от картинки, с которой нужно было синхронизировать голос. Странная слабость во всём теле к вечеру переходила в ломоту и головные боли. Не успевал покупать анальгин. Это продолжалось уже месяц.

Сколько раз мама говорила ему: «Сходил бы ты, сынок, к лору». И он понимал, что надо. Но больницы и врачи вызывали в нём неприятные чувства, с самого детства, без особой на то причины.

Совсем другое дело, это ломтевское «стоп», звучавшее по пять-шесть раз за сеанс. От него по спине Давыда начинали ползать мурашки. И это он вполне мог себе объяснить. Казалось бы, обычная команда в работе дублёра. Но для Давыда Бакина в ней таилось нечто большее — нечто из прошлого,

которое однажды перечеркнуло его мечту стать настоящим актёром.

Сколько ему тогда было? Наверное, семь лет. Во втором классе он репетировал роль Пьеро в школьном спектакле — и у него это отлично получалось. До тех пор, пока Славик Пухов не стянул с него штаны прямо посередине репетиции. Второгоднику Пухову, конечно, влетело от директрисы, но Доде, как называли Давыда одноклассники, легче не стало. Потому что в первом ряду актового зала сидела девочка, в которую он был влюблён, — Света Липина. В принципе, для одной её он и играл роль, вкладывая в печальный образ героя всю детскую душу. Он видел её восхищённый взгляд. Если уж не мог растопить её сердце своей неказистой внешностью, то уж перед талантом она не смогла бы рано или поздно устоять. Это он знал точно. И надо же было случиться такому облому.

Понятное дело, что после этого Света забыла о его существовании, а Додю стали называть не иначе как Додик — в самом унижительном смысле этого слова. Он возненавидел своё имя, несмотря на то, что в переводе с иврита оно означало «любимый». Кем любимый? Теперь уж точно не Светкой. А родительская любовь не в счёт.

Сколько слёз пролил бедный Давыд всю последующую четверть, до самых летних каникул. Сколько раз сгорал от стыда, вспоминая своё фиаско. Мечтая отомстить Пухову, записался в секцию бокса. Но когда почувствовал себя гото-

вым к реваншу, Славика перевели в другую школу. Из бокса Давыд за ненадобностью ушёл. От отчаяния, продолжая себя наказывать, поступил в музыкальную школу на класс баяна. Тем не менее Додик снова превратился в Додю, а иногда даже в Давыда — драться он научился первоклассно. Но о театре забыл. Сцена теперь пугала. Да и Светка больше ни разу не посмотрела в его сторону так, как это бывало раньше. Тут даже бокс не помог — не поймёшь этих девчонок.

К счастью, у Давыда обнаружилась прекрасная дикция. В художественном чтении можно было вполне проявить свой актёрский дар, при этом физически оставаясь в тени от зрительских глаз. Давыд это очень хорошо понял и стал развивать новый навык — сначала участвуя в школьных радиоспектаклях, а после окончания школы устроившись работать диктором на местное городское телевидение. Слава богу, ломка голоса прошла как по маслу, насытив тенор Давыда нотками волшебного баритона. Со временем небольшие студии стали приглашать его на дубляж, а писатели доверяли озвучить свои тексты.

Вернувшись из армии, Давыд попробовал обжиться в Москве, попытал счастья на некоторых телевизионных каналах — но уже через год понял, что финансово не справится с конкуренцией, и вернулся в родные пенаты. Удовлетворился не всегда стабильными заработками, но всё же любимым делом, поменять которое на что-то другое не представлял возможным.

Давыду Семёновичу Бакину исполнилось тридцать четыре, а он так и не повзрослел — не заметил, как пролетело двенадцать лет после возвращения из Москвы. Не успел жениться, не успел приобрести никакой иной профессии, не обзавёлся близкими друзьями, продолжая жить с мамой, на плечи которой легли все заботы о его быте. Впрочем, мама была не против. Оставшись вдовой десять лет назад, она не мыслила своей жизни без сына, понимая, что и тот, случись с ней что, совсем потеряется в этом бесчувственном мире — без нормальной профессии, без опыта в бытовых мелочах, без любящей и любимой женщины.

Давыд снова вытащил на поверхность потайное значение своего имени и теперь им гордился — не самонадеянно, не с пошлым самолюбованием, а как-то тихо, по-домашнему, словно хранил в кармане тёплый камешек. «Любимый». Пускай не всеми, пускай не всегда — но ведь где-то в самой сердцевине языка, в древних звуках, кто-то уже заранее решил, что он будет любим. Это успокаивало.

— Давыд, — вывел его из задумчивости голос Лены. — Эй там, на судне, есть кто живой?

— Что? — встрепенулся он.

— Как насчёт посидеть втрём в «Пастушкё»? Ты какой-то совсем потерянный в последнее время.

— Не очень сейчас удобно, — ответил Давыд.

— А что так? Паша, — обратилась Лена уже к «броненосцу», — поддержи.

— Да почему нет... — не задумываясь ответил тот. — Вариант годный.

— Вот видишь. Давай, Семёныч. Выше нос. Поднять парусá!

Но чем сильнее его подбадривали, тем больше возрастало в нём внутреннее сопротивление. Да и то, как смотрела на него Лена, напомнило ему Свету Липину в то время, когда он ещё блистал на сцене. «И что она во мне нашла?» — думал Давыд и не мог ответить на свой вопрос. Может быть, боялся разочаровать — оказаться при более тесном знакомстве совсем не тем, за кого принимала его Лена. Он давно уже отвык от компаний, а на праздниках, где иногда приходилось бывать, никто от него ничего особенного не ждал, так что там можно было затеряться и просто наблюдать за весельем. Да и запись аудиокниги он тоже отложить не мог — уже настроился и думал только о ней.

— Извините, — сказал наконец он, — но сегодня без меня. Дела. Только без обид, лады́?

Лена разочарованно вздохнула, пожала плечами и опустила глаза, ничего не ответив. «Броненосец» Павел только протёр очки и чихнул.

— Твоя правда, — сказал он. — Кого подвезти? Я сегодня на своей. В принципе, пить тоже нельзя.

Есть люди, которые живут немного поодаль от обыденной жизни — не потому что им всё равно, а потому что они заня-

ты чем-то внутренним, чем-то, чего не видно снаружи, но чего никак нельзя оставить на произвол. Давыд был именно таким. Мог пропустить автобус, потому что в этот момент мысленно разбирал монолог Гамлета. Мог забыть поесть, потому что крутил в голове интонацию одной-единственной фразы. Приятели у него были, — немного и не очень близкие — и все они давно привыкли: разговаривая с Давыдом, никогда нельзя быть уверенным, что он здесь целиком. Какая-то часть его всегда оставалась там, внутри него, в звуке или в не очевидной для внешней ситуации мысли.

Голос был его сценой, его костюмом, его светом рампы. Когда он говорил «добрый вечер, в эфире...», у диспетчеров на телевизионной станции непроизвольно выпрямлялись спины. Баритон его, с лёгкой хрипотцой по краям — как хороший чай с дымком. Откуда в этом невысоком, слегка сутулом человеке в вытянутом свитере брался такой звук — никто толком объяснить не мог. Люди, слышавшие его впервые, умолкали на полуслове и переглядывались.

Это был его способ существовать. Не видимым, а слышимым. Не телом, а звуком.

Снаружи догорали последние дни мая. Давыд их не замечал.

Самочувствие Давыда с каждым днём ухудшалось. С большим трудом закончив в студии озвучку мультфильма, он взял паузу в работе и решил наконец обследоваться в областной больнице. Что-то инородное всё сильнее мешало в горле, голос совсем охрип, сделав почти невозможным самое элементарное чтение.

Обследование показало плачевные результаты — полипы в области голосовых связок. Необходимо было оперативное вмешательство, а это означало, что пауза в любимой работе может затянуться недопустимо долго. Но другого выхода не было, и Давыду пришлось лечь на операционный стол.

Однако события стали разворачиваться по непредсказуемому сценарию. С одной стороны, случившееся уже перед самой операцией вывернуло жизнь Бакина наизнанку, но с другой — он выжил только благодаря тому, что находился в критический момент уже в стенах больницы. Наверное, врачи провели недостаточную диагностику и не заметили аневризмы сонной артерии перед тем, как назначить операцию. Но в итоге они же и проявили чудеса своего искусства, сумев вовремя устранить последствия разрыва артерии. Помедли они на минуту дольше — и Давыду уже несли бы на могилу цветы.

Сам он ничего этого не видел и не осознавал. Потерял со-

знание сразу, как только открылось внутреннее кровотечение.

Очнулся два дня спустя в палате реанимации. Рядом с ним с серьёзными лицами сустились медсёстры, меняя капельницы и вкалывая иглы в левую руку. Эту руку он не чувствовал — как, впрочем, и всю левую половину своего тела. Кроме того, он совсем не мог говорить: связки не слушались, половины слов из словаря он никак не мог вспомнить.

Ужас постепенно овладел всем его существом. Что произошло? Неудачная операция? Паралич? Никто не мог ответить на эти вопросы — потому как и задать их не получалось. Лишь на четвёртый день лечащий врач более-менее внятно обрисовал картину случившегося и даже попробовал обнадежить: самое страшное позади, через недельку-другую, максимум через месяц, чувствительность вернётся. Давид, конечно же, не поверил ни единому слову, поставив на себе крест. Но на пятый день, когда в палату пустили маму, смог сказать первое слово: «привет». К вечеру уже вымолвил «да» и «нет», а ещё через два дня, когда в реанимацию прорвалась Лена, — произнёс её имя. Этот факт его несколько успокоил.

Пролетела ещё неделя — и получилось пошевелить левой рукой. Он даже пытался приподняться на койке, однако бдительная сестра быстро привела его обратно в лежачее положение.

В палате реанимации их было двое — он и ещё какой-то пожилой мужчина, которого ввели в продлённую медика-

ментозную кому. Что именно с ним случилось, Давыд не знал, но всякий раз этот старик становился для него ярким свидетельством того, что бывает в жизни и хуже. Мужчину готовили к очень сложной операции, но каждый день откладывали её по непонятным причинам. К нему раз в три дня пускали молодую девушку — наверное, его дочь или внучку. На вид ей было лет тридцать. Она была стройна, красива лицом и грациозна в движениях, несмотря на то, что в таких обстоятельствах мало кто может чувствовать себя в полной мере раскрепощённо.

Чтобы хоть как-то отогнать от себя чёрные мысли, Давыд пытался больше думать об этой девушке. Сначала, воображая себя Холмсом, выстраивал гипотезы о её характере, о работе, о привычках. Получалось обманчиво, поскольку образ рисовался очень уж романтичным, даже вопреки правильным догадкам, которые Давыд всё-таки допускал, используя «дедуктивный» метод. Эта девушка одевалась строго, каждый раз приходила в разной одежде, но всегда с иголки, не придерёшься. Обручального кольца на её руке он не заметил — только изящный кожаный браслет на запястье с подвешенным к нему золотым крестом. Дорогая сумочка, туфли без каблука, шик которых не портили даже надетые поверх голубые бахилы. Он пытался отгадать её имя. Ольга? Возможно. На звук это имя казалось прочным и в то же время по-женски гибким. Вероника ей тоже шло, но только в сокращённом варианте — Ника. А в полном — слишком длин-

но. Когда её имя было произнесено одной из сестёр, Давыд удивился. Девушку звали Настя. Среди его вариантов такого не предлагалось.

«Какой же бывает она в обычной жизни, — пытался представить себе Давыд, — при жёлтом свете настольной лампы, в домашнем халатике на голом теле?» И перед взором его будто вспыхивал экран, где Настя лежит на диване с книгой в руках, медленно перелистывая страницы, а край её халатика всё больше сползает, обнажая бархатный загар до невозможности стройной ножки.

С каждым новым визитом девушки Давыд распалялся всё сильнее, и воображаемые картины уже переставали быть приличными, пугая его своим содержанием и своей реалистичностью. Каким-то образом чувствительность его тела от этого восстанавливалась только быстрее. В конце концов его перевели из реанимации в отдельную палату и стали готовить к операции по удалению полипов — поскольку те никуда сами собой не делись. Покидая реанимацию, он посмотрел на бирку, прикреплённую к кровати своего теперь уже бывшего соседа: *Кремен. П. И.* Фамилию, судя по всему, сократили. Но этому старику она подходила как раз в таком виде — тот даже спал с суровым лицом, похожий на каменную фигуру. Кремень.

Давыд подписал все необходимые документы, понимая риски и частично снимая ответственность с врачей, которые хотели на какое-то время операцию отложить. Он не мог

ждать — не мыслил жизни своей без того, чтобы не читать вслух. Если не сделать это сейчас, то потом сложно будет и набраться решимости, и собрать нужное количество денег. Деньги не такие уж и большие, но без единственного источника дохода даже меньшая сумма виделась неподъёмной. Пока ещё имелись кое-какие накопления; помогли к тому же и коллеги — особенно постаралась Лена; мама, само собой, тоже в стороне не осталась.

Между тем, скучая по книгам, Давыд попросил принести в палату что-нибудь почитать. Всё свободное время между процедурами он сидел то с томиком Достоевского, то с рассказами Куприна, представляя, как звучали бы предложения, имея он возможность читать вслух. Его словарный запас восстановился до прежнего уровня, а чувство текста обострилось настолько, что, даже закрыв глаза, он словно продолжал читать — удивляясь тому, что его внутренние тексты почти слово в слово соответствовали реальным. Конечно, это можно было бы объяснить тем, что, к примеру, «Олесю» он перечитывал пятый раз и вполне мог подсознательно воскрешать в памяти предложения прежде, чем прочитывал их снова. Но с каждым днём эта новая способность приобретала всё более странное направление.

К полуночи, утомлённый чтением, он стал проваливаться в состояние, хотя и похожее на сон, но всё же от него отличавшееся: он мог осознавать реальность и при этом контролировать любые образы, по желанию вызывая их перед

своим внутренним взором. Думая о работе, он тут же оказывался в студии, видя в ней каждую мелочь и обострённо чувствуя всякий предмет, стоило лишь к нему прикоснуться. Он мог быть в этой студии один, а когда делалось скучно, вызывал образ Лены — та тут же появлялась возле своего микрофона и голосом обезьянки начинала начитывать очередной дубль. Поначалу такое погружение обескураживало его, так что он не мог долго удерживать это параллельное с реальностью состояние и «просыпался» с бешено колотящимся сердцем и с испариной на холодном лбу. В этом «полусне» он мог даже читать вслух любые книги, которые только желал, и голос его при этом звучал волшебным, убедительно и без малейшего изъяна. Жаль только — никто не мог слышать, кроме призрачных зрителей, которых он силой воображения усаживал в огромном амфитеатре.

А потом стало происходить нечто ещё более странное — сама собою, вопреки воле Давыда, появлялась объятая голубоватым пламенем книга в чёрной, будто измазанной в гудроне, обложке. Она открывалась перед ним, и на желтоватых, потрескавшихся страницах начинал медленно проявляться короткий текст — в каждом случае не очень понятный: то пугающий, то шуточный, то не имеющий совсем никакого смысла. Когда это произошло впервые, перед ним возникло только два слова: *и виждь, и внемли*. Это была строчка из пушкинского «Пророка». Но почему вдруг она?

Давыд так и стал называть спонтанно возникавшую книгу

— Скрижалью. Не то чтобы он возомнил себя Моисеем, но это «внемли» настроило именно на такой лад.

Три ночи подряд Скрижаль появлялась в самых неожиданных местах, в которые устремлялся скованный полусном дух Давыда: картинка прежней местности как бы осыпалась, и вместо неё появлялся готический храм. Давыд оказывался внутри, стоял на солеё лицом к алтарю; Скрижаль при этом лежала на аналое, а у себя за спиной он чувствовал присутствие множества людей, заполнявших напряжённым молчанием зал. Сквозь узкие высокие витражи пробивались разноцветные лучи солнца. По спине бежал холодок. Скрижаль вспыхивала и начинала вещать.

Во второй раз он прочитал: *бежать и прятаться*. И только очнувшись, понял, что это была не случайная фраза, а ответ на его вопрос — тот, что он задавал самому себе ещё днём, пытаясь решить, что делать со всем этим, но ответа не находя. Отныне это было его свойством, над которым он не имел никакой власти. И ещё один нюанс скрывался за этим вопросом — Давыд отметил это для себя чётко: спрашивая о том, что ему делать, он как бы вдогонку подумал о Насте, словно изначально хотел узнать именно о ней, но в последний момент это желание подменили собой мысли об открывшемся даре.

В третий раз Давыд решил задать Скрижали уже прямой и осмысленный вопрос. Держал его в уме до самого отбоя, пока в палатах не погасили свет. Ему хотелось узнать, что за

человек с биркой «Кремен. П.И.» лежал в реанимации, которого продолжала посещать Настя. Ответ оказался неожиданным, многословным и не очень понятным: *Кирюша зовёт. Не могу больше. Отпусти.*

Теперь сомнений не оставалось — Скрижаль могла отвечать на вопросы.

Однако теперь её образ стал являться даже посреди дня. Давыд мог просто сидеть на койке и читать, мог находиться в столовой или в туалете, мог ожидать очередное появление Насти, дежуря, как часовой, в коридоре... В глазах просто мутнело, и реальность терялась едва различимым маревом где-то на периферии сознания, замещаясь всё тем же храмовым залом. Это длилось, может быть, полторы или две секунды — за этот промежуток Давыд не успевал упасть или выронить из руки стакан с чаем, однако его предобморочное состояние можно было заметить со стороны, что и удавалось порой медсёстрам. Он убеждал их, что всё в порядке, сам при этом пугаясь и не понимая, что делать дальше.

После удаления полипов выдалось пару дней без провалов. Давыд успел отдохнуть, ещё больше привыкнуть к своему сверхъестественному дару и попытаться очертить русло, в котором ему следует отныне двигаться, чтобы окончательно не повредить собственный разум.

Тем временем чувства Давыда к Насте начинали пугать. Пугать не тем, что они всё больше походили на неуправляемую страсть, а тем, что у них не находилось никаких перспектив. Ни разу за всё то время, в течение которого девушка посещала отца, она не обращала на Давыда внимания. Пока он лежал в реанимации, она ещё бросала в его сторону прохладное «здрасьте», но как только его перевели в обычную палату — тут же перестала узнавать.

От обиды и от желания выведать о Насте что-нибудь более существенное он пытался её «прочитать», но всякий раз наталкивался на какую-то стену, не позволявшую заглянуть дальше, чем мог любой другой наблюдатель. Настя не читалась — точно так же, как не читался для себя он сам. Исключением была только самая первая, не вполне осознанная попытка, когда скрижаль выдала ему невнятное *бежать и прятаться*. Кому и от кого? Ему от Насти — или ей от него? Или от кого-то другого? Ей угрожает опасность?

Давыд ухватился за эту последнюю догадку — что сделал бы на его месте всякий, не желающий терять надежду на свою неоспоримую ценность. Он-то точно никакой опасности для девушки не представлял. Да и сам он уже взрослый. Не какой-нибудь подросток, способный от первой же неудачи навредить собственному здоровью. «Да-да, — поду-

мал Давыд, — ей что-то наверняка угрожает. Ведь Скрижаль ни разу ещё не ошиблась».

В последние дни после второй операции Давыд экспериментировал особенно много, позволяя себе самые дурацкие вопросы. Спрашивал, например, как сыграют «Спартак» и «Динамо» в московском дерби. Ответом было: *Стена дрогнула. Белая мышь в чужом доме*. И «Динамо» выиграло со счётом 1:0 — единственный гол был забит со штрафного, во время которого один из стоявших в спартаковской стенке защитников инстинктивно уклонился от летевшего в голову мяча.

Потом во время разговора с Леной Давыд, обратив внимание на её отстранённо-усталый вид (чего с ней никогда не случалось раньше), спонтанно погрузился на пару секунд в чтение и увидел весёленькое: *тра-та-та, тра-та-та, мы везём с собой кота*. Он уже знал, что подобная весёлость со стороны Скрижали не предвещает ничего забавного — напротив, это всегда было циничной манерой с шутками и прибаутками оповестить читающего о грядущих или уже свершившихся трагических обстоятельствах.

— У тебя что-то случилось? — спросил у Лены Давыд.

Та опустила глаза, на секунду нахмурилась и сказала:

— С чего ты взял?

— Показалось, — пожал он плечами.

— Да ничего. — Лена продолжала смотреть в пол.

— Кошка? — решился предположить Давыд, хотя и не

знал, имелись ли у Лены дома питомцы.

Девушка вздрогнула. Посмотрела на него с удивлением и тревогой:

— Тебе кто-то сказал? У тебя был Ломтев?

— О чём?

— О кошке.

— Нет. Из студии только одна ты приходишь. Так что с ней?

Лена вздохнула и снова опустила глаза:

— Похоронила вчера. Почти семь лет жили душа в душу. Жалко.

Так что поводов не доверять Скрижали у Давыда не оставалось. И чем сильнее он уверялся в этом, тем неотступней становилась убеждённость в том, что Насте нужно рассказать о Кириуше. Разумеется, он понимал, какое впечатление своими словами произведёт на девушку — для любого стороннего человека эта абракадабра покажется бредом сумасшедшего. Но ведь он давно уже отказал себе в шансах быть по-настоящему замеченным Настей, поэтому какая разница, что она подумает о нём после его слов.

За три дня до выписки у Давыда выдался шанс остановить Настю в коридоре и начать разговор.

— Здравствуйте, — сказал он особенно настойчиво, чтобы в этот раз девушка не смогла его не заметить.

Настя взглянула на него, кивнула в знак приветствия и хотела было пройти мимо, но вдруг задержалась, словно

вспомнила о чём-то важном.

— Вы не узнаете меня? — воспользовался её замешательством Давыд. — Я лежал в реанимации по соседству с вашим отцом. Это ведь ваш отец?

— Да, — ответила девушка, всё более внимательно всматриваясь в своего собеседника. — Я помню. Кажется, Давыд?

— Давыд.

— Вы хотели о чём-то поговорить?

— Хотел. Только... Возможно, мои слова покажутся вам слегка странными. Но я должен... Мне кажется... — Давыд не знал, как правильнее сформулировать необходимость в этой беседе.

— Да говорите уже, — уверенно произнесла Настя.

И Давыд, так и не найдя подходящих слов, выпалил прямо и без прелюдий:

— Кирюша зовёт. Не могу больше. Отпусти.

— Что? — Голос девушки прозвучал будто из-под сугроба. В нём не было удивления. Скорее — злость или даже упрёк, как если бы он предложил ей что-то непристойное.

— Простите, — встрепенулся Давыд. — Хотелось рассказать об этом иначе.

Он и дальше собирался до бесконечности извиняться и пытаться перевести сказанное им на обычный язык, вывалив на девушку и свои чувства, и историю о том, как, сам того не желая, превратился в провидца. Однако тут же осёкся, увидев, что с Настей происходит что-то не очень соответствующее.

щее его предположениям.

Девушка побледнела, отчего её светло-карие глаза стали казаться чёрными и будто прожигали в Давыде дыру. Он побоялся, что Настя лишится чувств, вскочил со стула, на котором сидел возле ординаторской, но тут же опустился обратно, потому что ноги его безвольно подкосились.

Через мгновение Настя сумела взять себя в руки, разрумянилась, отвернулась от Давыда и, не сказав ни слова, быстрым шагом удалилась к выходу из коридора.

Через два дня после этого странного диалога произошло ещё одно событие — отца Насти отключили от всех удерживавших его в коме аппаратов и, накрыв простынёй, увезли на каталке в морг.

Настю в больнице он больше не видел.

Дом, милый дом.

Наконец-то появилась возможность побыть в одиночестве, в спокойной обстановке обдумать всё произошедшее за последние сорок дней. Именно столько пришлось провести Давыду в больничных палатах.

Мама, уставшая от переживаний и успокоенная возвращением сына, решила уехать на пару недель в санаторий, предусмотрительно посчитав, что Давыду захочется пожить какое-то время одному.

И ему было о чём подумать.

Во-первых, нужно было как-то научиться контролировать спонтанные погружения в чтение — и в целях элементарной безопасности, и в целях справедливого желания управлять этим процессом. А во-вторых — и это, может, даже важнее первого, — нужно было найти работу. Обещания врачей о восстановлении голосовых связок не оправдались. Дикция сделалась отвратительной — ни о каком чтении, в прямом смысле этого слова, не могло быть и речи. Может, пока рано было делать такие выводы, но интуиция подсказывала Давыду, что как прежде уже ничего не будет. Ещё месяц назад он сошёл бы с ума от такой догадки. Теперь же воспринимал это спокойно. Его судьба кардинально изменилась. Только не проявилось на горизонте понятной цели, ради которой мож-

но было бы до конца уверовать в свою полноценность.

Теперь за внутренним чтением Давыд проводил по три-четыре часа в сутки. И днём и ночью. Тексты Скрижали делались всё длиннее, образуя связующие нити между разрозненными поначалу сюжетами. На вопрос «зачем я читаю?» скрижаль отвечала: *Взывают миры. Скованы страхом люди. За пеленой укрыта свеча. Зовёт и плачет Её душа.* Именно вот так, с заглавной буквы — «Её». Когда же он спросил «кто она?», скрижаль ответила одним словом: *Песчинка.* И Давыд не стал уточнять. Всякие цепочки вопросов рано или поздно заходили в тупик. Вложенные друг в друга ответы походили на матрёшку, внутри которой каждый раз оказывалась меньшая — до тех пор, пока не заканчивалось такой вот «песчинкой».

Но так или иначе всё строилось вокруг загадочной фигуры Насти. Именно её он видел этой «песчинкой», а себя самого — жемчужницей, внутри которой зрело и набухало. И чем больше накручивалось нитей, тем яснее Давыд понимал: Насте угрожает опасность. Никто иной, как она, скована страхом. Именно её душа плачет и призывает на помощь.

Образ едва знакомой девушки не исчезал из головы даже тогда, когда Давыд надолго возвращался в реальность. Это было странное чувство — влюблённость, медленно перетекающая в зависимость. Настя будто замещала собой всё его существо, стараясь подчинить волю одному единственному желанию: во что бы то ни стало он должен защитить её от на-

двигающейся беды. Несмотря на терпкое возбуждение, облечённое в романтические порывы, душу постоянно скребло какое-то непонятное чувство — ощущение потери себя и липкий страх оказаться всецело во власти чего-то чужого, холодного, потустороннего, хотя внешне и обёрнутого в домашний халатик.

В отличие от мамы, Лена не посчитала правильным оставить Давыда наедине со своими мыслями. Она-то понимала, что значила для него потеря — пусть даже и временная — необходимого для озвучек тембра. Да и это «прозрение» Давыда относительно умершей кошки слегка озадачило её, если не сказать напугало. Поначалу к её визитам Давыд отнёсся прохладно, но уже второе вторжение воспринял иначе. Теперь он ухватился за её общество как за спасительную соломинку. Сейчас ему было необходимо рядом что-то живое, настоящее, понятное и простое. И ещё нужно было хоть с кем-то поделиться своим тянущим в тёмную бездну даром — с кем-то, кто выслушает и не сочтёт его сумасшедшим.

Сумев выманить Давыда из душной квартиры, Лена накормила его в кафе, после которого, уже под вечер, они пошли прогуляться по набережной. Отыскав под низкорослыми пихтами свободную лавку, они сели посмотреть на закат и послушать воркование тут же обступивших их голубей.

— Слушай, — после долгой паузы прервала молчание Лена. — Ты должен мне всё рассказать.

— О чём? — машинально переспросил Давыд, хотя и по-

нимал смысл заданного вопроса.

— Обо всём. Я же вижу, как ты мучаешься. Сначала полагала, что это из-за пропавшего голоса. А потом поняла, что всё намного сложнее. Что с тобой происходит?

И в этот момент Давыда прорвало.

Почти без пауз он вывалил перед ошарашенной Леной всю историю о своих новых способностях, в красках описав и гулкий зал готического собора, и пылающую на аналое Скрижаль, и неотступные опасения относительно завладевающей его существом Насти. Когда он закончил, Лена ещё с минуту сидела с открытым ртом и бегающими глазами, не в силах сформулировать ни одной мысли.

— Нда... — наконец выдохнула она. — Про мою кошку это оттуда?

— Оттуда.

— Даже не знаю, что и сказать. Это ужасно.

— В каком смысле?

— Да во всех. Знать всё и про всех — это же наказание. А про себя ты тоже всё знаешь?

— Нет. Себя прочесть невозможно.

— Вот как... А про меня? Нет-нет, — тут же замахала руками Лена. — Не говори ничего. Это я с дуру спросила. Не хочу ничего знать.

— Тебя я тоже по-настоящему не читал, — успокоил её Давыд.

— Вот и не читай никогда. Слышишь? Я запрещаю тебе!

Она попросила об этом искренне, но в голосе прозвучали и нотки затаённой обиды — он её не читал, значит, она ему совсем не интересна.

— Да я понял. — Давыд взял Лену за руку, которой та продолжала махать. — Не кричи так. На нас уже пялятся.

— Ой. Ну да. Но ты обещаю мне, что не станешь меня читать.

— Обещаю. Ещё неделю назад я продолжал погружаться в это состояние произвольно. Но теперь научился его контролировать. Так что успокойся. Про тебя мне ничего не известно. Тем более что это же не вердикт. Мало ли что мне может привидеться. У человека всегда есть свобода выбора.

— Это ты тоже прочитал в своей книге?

— Нет. Этой свободой наградил человека бог. Если верить другой книге, уже проверенной временем и людьми.

— Это ты о Библии?

— Да.

— А если твоя книга врёт? Может такое быть?

— Не знаю. Пока что сбывалось всё.

— И что думаешь делать? Я про опасения твои относительно... Насти.

— Хочу найти её. И предупредить.

— Господи! — воскликнула Лена. — Она подумает, что ты сбрендил.

— Посмотрим, — спокойно сказал Давыд. — В прошлый раз она не особенно удивилась.

Лена долго смотрела на него — с тем особым выражением, с каким смотрят на человека, которого только что разглядели по-настоящему и не знают ещё, что с этим делать.

— Семёныч, — сказала она наконец тихо. — Ты хоть понимаешь, что ввязываешься во что-то, из чего может не быть выхода?

— Понимаю, — ответил Давыд.

— И всё равно пойдёшь?

— А куда деваться.

Лена покачала головой, посмотрела на воду и больше ничего не сказала. Голуби топтались у их ног, клевали крошки, которых не было, и смотрели на людей с той невозмутимой деловитостью, которая бывает только у птиц и у очень мудрых стариков.

Несмотря на внешнюю простоту и весёлость, Лена была человеком весьма закрытым. Не в том смысле, что утаивала что-то, о чём другие хотели бы непременно знать. Просто никто не спрашивал, потому она и не считала нужным рассказывать. Если кто-то и упоминал её в разговорах, то непременно как «Ленку», иногда «Ленусика», но никогда не «Елену Викторовну», — никто, собственно, и отчества-то её не знал, кроме, может быть, бухгалтера — по необходимости. А тем не менее этот человек ростом 165 сантиметров и весом 48 килограммов в совершенстве знал три языка — русский, французский и итальянский, — имел диплом бакалавра филологии и кое-какие спортивные достижения. Её

никогда невозможно было заставить грустной или злящейся по всяческим пустякам — улыбка всегда освещала её круглое личико, серые с зелёными искорками глаза и милые ямки на румяных щеках. Может быть, она и не была красавицей в классическом смысле, но уж дурнушкой назвать её никак было нельзя, даже определения «симпатичная» было бы недостаточно. Тем не менее близость с мужчиной в её жизни случилась только однажды, несмотря на то, что ей стукнуло уже двадцать три.

В России Лена не родилась. В Россию она приехала пять лет назад, в восемнадцать, поругавшись со своей мамой как раз-таки из-за не угодившего той жениха. Честно говоря, тот её первый (и пока единственный) парень и в самом деле был глуповатым повесой, вскружившим Лене голову тем, что просто-напросто был похож как две капли воды на Джонни Деппа. Господи! Какой же наивной дурочкой она была в восемнадцать лет! Теперь-то Лена это вполне понимала, с мамой успела заключить мир, но назад, во Францию, возвращаться не торопилась. Ей нравилось то, что она сама сумела выстроить свою жизнь в чужой, холодной стране — конечно, не без маминых денег, но всё же. Да и Давыд, которого она встретила на студии Ломтева, крепко держал её здесь, хотя не знал об этом в таких подробностях, а сама Лена робела форсировать события и терпеливо ждала подходящего стечения обстоятельств.

Солнце опускалось за крыши.

Давыд сидел и думал о Насте — о том, как она шла по коридору больницы, быстро и не глядя по сторонам, с маленькой сумкой через плечо, — и о том, что где-то в этом городе она сейчас живёт своей жизнью, не зная, что кто-то силится прочесть её, словно книгу, и не понимает ни строчки.

Работу он нашёл через неделю.

Друг детства Костя Ерёмин, работавший в пищевой промышленности и всегда немного стеснявшийся этого факта в обществе людей творческих профессий, позвонил сам:

— Слушай, у нас в кондитерском цехе место есть. Не работа мечты, я понимаю. Но пока — чтобы ноги не протянуть.

— Что за работа?

— Упаковщик. Торты в коробки складывать. Там тихо и тепло, и пахнет хорошо.

Давыд согласился.

Пахло там действительно хорошо — ванилью, карамелью, тёплым тестом. Работа была монотонная и не требовала ни голоса, ни особых умений: взял торт, уложил в коробку, завязал ленту. Взял торт, уложил в коробку. Давыд делал это механически, и, пока руки были заняты, голова оставалась свободной — а в свободной голове появлялась Скрижаль.

Он продолжал контролировать свои погружения.

Сначала просто замечал: вот пришло, вот ушло. Потом — задерживал: останавливал текст на нужной строчке, перечитывал, запоминал. Потом научился вызывать намерен-

но. Последнее давалось труднее всего. Нельзя было вызвать Скрижаль о конкретном человеке усилием воли — только создать что-то вроде внутренней тишины, расфокусированного внимания, такого же, как перед чтением вслух. Если получалось войти в это состояние, глядя на человека, текст приходил сам.

Читать собственную судьбу не получалось никак. Страницы оставались пустыми.

В один из дней июля, укладывая в коробку торт, Давыд вдруг увидел Скрижаль — непроизвольно, ни с того ни с сего. Запись была короткой и отчётливой, и она была о Насте. По крайней мере Давыд снова отнёс эти слова к ней.

Опасность. Настоящая. Близко.

Прямо и без всяких загадок.

Конечно, это не могло продолжаться относительно безмятежно. Потому что в этом не было ничего естественного. Это была в чистом виде сверхъестественная способность. А пространства, которые она открывала, не могли пустовать и не могли не потребовать от Давыда куда большего, чем пропавший голос. И однажды это случилось.

Луч света пробил витраж и лёг на аналой — и в это самое мгновение мир оборвался.

Не погас, не потемнел — именно оборвался, как обрывается плёнка, оставив белым экран. Строчки на странице Давыд дочитать не успел. Буквы дрогнули, поплыли, и посреди листа проступило пятно — чёрное, осьминожье, с неверными краями, будто кто-то капнул на желтоватую бумагу тушь, и капля эта, вопреки всякому порядку вещей, не сохла, а только росла. Она ела строки. Она ела свет. Скрижаль ещё пыталась гореть по краям привычным голубоватым огнём, но огонь этот втягивался внутрь пятна и гас там без остатка, без дыма, без единой искры.

А потом исчез звук.

Давыд знал тишину. Он работал в ней всю жизнь — в тонкомнате, обшитой поролоном, где не отскакивает от стен никакое эхо, где собственный вдох слышишь так, будто он звучит у тебя в черепе. Он думал, что знает, что такое тихо. Он

ошибался. То, что настало теперь, тишиной не было. Тишина — это когда нет звуков, но есть ты, который мог бы их услышать. А здесь не стало и его. Пропал воздух в ушах, пропал ток крови, пропало то ровное, никогда не смолкающее гудение живого тела, которое человек носит в себе от рождения и до последнего дня, не замечая, как не замечают собственное дыхание. Мир оглох. И Давыд оглох вместе с ним — не ушами, а весь, целиком, до самой последней клетки.

Он открыл рот. Он хотел позвать — всё равно кого, всё равно как, лишь бы услышать хоть что-нибудь, хоть скрип, хоть хрип, хоть жалкий писк, — но там, где всегда, всю жизнь, безотказно жил его голос, его баритон, его хлеб и его крылья, теперь не было ничего. Он говорил — и не рождалось ни слова. Он кричал — и крик проваливался внутрь, как огонь скрижали провалился в чёрную кляксу. Впервые Давыд понял, что такое немота — не когда молчишь, а когда кричишь, а мир не принимает твоего крика.

Вот тогда они и пришли.

Между колоннами, там, где только что стоял разноцветный от витражей сумрак, теперь колыхалось несколько чёрных вихрей. Границ у них не было. Глаз, привыкший обводить всякую вещь по краю, отделять её от прочего, здесь соскальзывал в пустоту — там, где полагалось быть очертанию, ничего не начиналось и ничего не кончалось, а просто чернота медленно ходила сама в себе, сворачиваясь и разворачиваясь, как дым в безветрие. Их было не то три, не то четы-

ре, не то один, разъятый на части, — сосчитать не выходило, взгляд не задерживался на них, соскальзывал вбок и вниз. Они не двигались в его сторону. Они просто были — и от того, что они были, всё внутри Давыда сжалось в маленький ледяной ком и перестало существовать.

Он не помнил, дышал ли. Он не помнил, сколько это длилось — минуту, час, всю жизнь. Время здесь тоже кончилось, как звук, как свет, как голос; оно свернулось в ту же точку, и Давыд висел в этой точке один, без опоры, без верха и низа, наедине с тем, у чего не было ни лица, ни имени, ни звука, — и оттого страшнее всякого лица, всякого имени и всякого звука.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.